

С. А. Фомичев

ПУШКИНСКАЯ
ПЕРСПЕКТИВА


ЗНАК
Москва
2007

НАВСТРЕЧУ РАДИЩЕВУ

В конце 1833 года Пушкин вернулся в Петербург из своего самого длительного путешествия по России. Собирая материалы для «Истории Пугачева», он посетил Нижний Новгород, Казань, Симбирск, Уральск, Оренбург, затем заехал на полтора месяца в нижегородское имение Болдино, где, как и три года назад, ему хорошо поработалось.

Вскоре по возвращении он завел еще две рабочие тетради. Это свидетельствовало о возникновении новых, рассчитанных на длительный срок замыслов. В альбоме в виде портфеля с замочком 24 ноября он начал вести дневник. В другом альбоме (ПД 846), которому суждено было стать последней его рабочей тетрадью, 2 декабря карандашом начал писать: «Более 15 лет не бывав в П. Б. и...» — зачеркнул начатую фразу, а потом, уже без помарок, записал первый абзац нового произведения:

Узнав, что новая московская дорога совсем окончена, я вздумал съездить в П. Б., где не бывал я более пятнадцати лет. Я записался в конторе поспешных дилижансов (которые показались мне спокойнее прежних почтовых карет) и 15 октября, в десять часов утра, выехал из Тверской заставы (ПД 846, л. 1).

При анализе этого произведения прежде всего нужно решить несколько «формальных» (в сущности, текстологических) вопросов: оно закончено или нет? предназначалось ли оно в печать? какой текст — черновой или белой — в большей мере отражает собственные взгляды Пушкина?

О том, что эти текстологические проблемы до сих пор не решены, свидетельствует беспрецедентное эдиционное решение, принятое в Большом академическом издании, в XI томе которого, *в основном корпусе*, текст воспроизведен по черновым, а вслед за тем и по беловым рукописям. Такое решение означало, что, по мнению редколлегии, окончательный текст остро публицистического сочинения был Пушкиным сознательно искажен в угоду предстоящего его цензурования, в то время как черновая рукопись выражала более откровенные политические взгляды автора.

Но если так, то, значит, данное произведение Пушкину представлялось завершенным и готовилось для печати. О том же свидетельствует и авторизованная его копия (ПД 1109), в которой были опущены главы «Слепой», «Русское стихосложение», «Медное (рабство)», «О ценсуре». Указано это произведение и в пушкинском перечне статей, предназначенных для «Современника»¹. Едва ли в таком случае Пушкин считал, что в предназначенном для публикации сочинении его взгляды искажены.

Произведение, однако, так и осталось при жизни автора неопубликованным и даже незаглавленным (оно получило редакторское название «Мысли на дороге», позже — «Путешествие из Москвы в Петербург»). Вероятно, потому, что в 1837 году ему уже не довелось выпускать очередные тома своего журнала, которым он занимался вплоть до отъезда на дуэль 27 января...

Общие очертания сюжета «Путешествия» были так обозначены в конце первой его главы:

Итак, собравшись в дорогу, я зашел к старому моему приятелю **, когото библиотекой привык я пользоваться. Я просил у него книгу скучную, но любопытную в каком бы то ни было отношении. «Постой, сказал мне **, — есть у меня для тебя книжка». С этим словом вынул он из-за полного собрания сочинений Александра Сумарокова и Михаила Хераскова книгу, повидимому изданную в конце прошлого

¹ См.: Рукою Пушкина. М., 1997. С. 220 (примеч.).

столетия. «Прошу беречь ее, сказал он таинственным голосом. Надеюсь, что ты вполне оценишь и оправдаешь мою доверенность». Я раскрыл ее и прочитал заглавие: *Путешествие из Петербурга в Москву*. С. П. Б. 1790 году. (...) Книга, некогда прошумевшая соблазном и навлекшая на сочинителя гнев Екатерины, смертный приговор и ссылку в Сибирь; ныне типографическая редкость, потерявшая свою заманчивость (...)

Я искренно благодарил и взял с собою Путешествие.

Содержание его всем известно. Радищев написал несколько отрывков, дав каждому в заглавие название одной из станций, находящихся на дороге из Петербурга в Москву. В них излил он свои мысли безо всякой связи и порядка. В Черной грязи, пока переменили лошадей, я начал книгу с последней главы и таким образом заставил Радищева путешествовать со мною из Москвы в Петербург (XI, 244–245).

Принято считать, что под библиофилом подразумевается С. А. Соболевский, давнишний пушкинский приятель, любитель книжных редкостей. Но это не согласуется с текстом: число звездочек, заменяющих фамилию, обычно соответствовало количеству слогов в ней. Не себя ли самого здесь имел в виду Пушкин? Как раз в 1833 году он приобрел редчайший — с многочисленными пометами красным карандашом — экземпляр книги Радищева и начертил на форзаце: «Экземпляр бывший в тайной канцелярии заплачен двести рублей»².

И это не единственное упоминание о себе в тексте «Мыслей на дороге».

Во второй главе читаем:

К стати: я отыскал в моих бумагах любопытное сравнение между обеими столицами. Оно написано одним из моих приятелей, великим меланхоликом, имеющим иногда свои светлые минуты веселости (XI, 248).

² Библиотека А. С. Пушкина. Приложение к репринтному изданию. М., 1988. С: 51.

А здесь кто имелся в виду? Вспоминали Вяземского, Голя, пока не было высказано парадоксальное, но наиболее убедительное предположение, что это сам Пушкин, который, как свидетельствовал один из мемуаристов, считал, «что в основании характер его — грустный, меланхолический, и если он бывает иногда в веселом расположении, то редко и ненадолго»³.

До некоторой степени такое предположение подтверждает и пушкинская рукопись. В беловом автографе (ПД 1098) главы (полного ее чернового текста не сохранилось) заглавие «любопытного сравнения» установилось не сразу. Если бы автор действительно хранил у себя вполне определенную чужую рукопись, то заглавие ее было бы там уже сформулировано и не могло варьировать. Но в рукописи сначала было записано: «Москва, Петербург и...». Что еще могло стоять здесь в этом ряду? Может быть, «...Россия».

Едва ли не главной побудительной причиной работы над «Путешествием» стало окончание «Истории Пугачева», актуальный смысл которой прямо обозначен в ее заключительной фразе:

Народ живо еще помнит кровавую пору, которую — так выразительно — прозвал он пугачевщиною (IX, 81).

«Бунтовщиком хуже Пугачева» назвала Екатерина II автора книги, которую, двигаясь по шоссе «навстречу Радищеву», путешественник начал читать с конца, сравнивая собственные впечатления и поневоле вступая в спор со своим «дорожным товарищем»⁴.

Однако (и это принципиально важно!) спор ведет не сам Пушкин, а некий путешественник, несущий, по мнению

³ См.: Вацуфо В. Э. «Великий меланхолик» в «Путешествии из Москвы в Петербург» // Временник Пушкинской комиссии. 1974. Л., 1977. С. 43–63.

⁴ «Дорожный товарищ» — так первоначально была озаглавлена первая глава «Путешествия».

автора, полную ответственность за высказанные им оценки и умозаключения. «Драмматического писателя, — предупредил Пушкин, — должно судить по законам, им самим над собою признанным» (XIII, 138). Это предупреждение имеет прямое отношение и к «Путешествию из Москвы в Петербург», так как оно по сути построено по драматургическим законам: автор здесь уходит в сторону и оставляет на сцене двух оппонентов, в противоборстве которых и должна открыться читателю истина.

В отличие от автора повествователь в «мыслях на дороге» — московский старожил, приверженный «тихому образу жизни». Он убежденный поборник дворянских прав, защитник существующей в России политической системы, придерживающийся последовательно консервативных взглядов. Конечно, он видит и пагубные эксцессы российской действительности, но убежден, что они возникают в результате нарушения законов: «Злоупотреблений везде много; уголовные дела везде ужасны» (XI, 257).

Поэтому спор его с «нововводителем» Радищевым принципиален и бескомпромиссен. «Книга, некогда прошумевшая соблазном», «желчью напитанное перо», «безумная дерзость в нападении на верховную власть», «дерзость мыслей и выражений», которая «выходит из всех пределов», «мысли, большею частью ложные, хотя и пошлые», «мрачные краски» — вот те определения, которые вырываются поминутно у путешественника при чтении книги Радищева.

И тем не менее он отнюдь не замшелый ретроград, а человек, мыслящий довольно самостоятельно, в высшей степени начитанный, обладающий литературным вкусом. Он отличный знаток русской литературы и народной поэзии, внимательный читатель московских и петербургских журналов. Он прочел и произведения, избежавшие цензуры: «Горе от ума» Грибоедова, «Гимн бороде» Ломоносова. С некоторым удивлением мы обнаруживаем, что он общался с Дельвигом, читал «народные легенды, которые еще не изданы», собранные (при участии Пушкина) Н. М. Языко-

вым и П. В. Киреевским, близок с самим Пушкиным (о чем уже говорилось выше).

В критической литературе эта широта литературных интересов повествователя нередко оценивается как неопровержимое свидетельство вольной или невольной подмены путешественника автором. Как будто и в самом деле среди современников Пушкина не было людей, мыслящих консервативно, но честных и порядочных. Вспомним, например, Павла Воиновича Нащокина, московского старожилы и завсегдатая Английского клуба, прекрасного знатока литературы; между прочим, в 1833 году после долгого перерыва он предпринял путешествие в Петербург, приглашенный поэтом на крестины второго его сына, Григория.

Может показаться, что постоянно спорящий с Радищевым путешественник поставлен в более выгодную позицию, нежели его оппонент, не имеющий возможности возразить. К счастью, консерватор в силу любви своей к книге оказался в споре честным. Он постоянно дает слово Радищеву — и не только там, где может ему возразить, но и тогда, когда рассуждения «нововводителя» невольно поражают своей правотой.

Главным для Радищева был призыв к отмене крепостного права. И в этом вопросе в «Мыслях на дороге» он спор выиграл. Уже в главе «Русское стихосложение» путешественник признает, что в радищевской оде «Вольность» «много сильных стихов». Глава же «Медное. Рабство» почти целиком состоит из радищевской цитаты и оканчивается тем, что путешественник замечает:

Следует картина, ужасная тем, что она правдоподобна. Не стану теряться вслед за Радищевым в его надутых, но искренних мечтаниях... с которыми на сей раз соглашаюсь поневоле (XI, 263).

Впрочем, для подавляющего большинства возможных читателей пушкинского времени смысл этой сентенции был полузакрыт, так как книга Радищева для них была недоступна, а стало быть, неизвестно и его пророчество:

А все те, кто мог бы свободе поборствовать, все великие отчинники (то есть владельцы вотчин, крепостных поместий. — С. Ф.), и свободы не от их советов ожидать должно, но от самой тяжести порабощения⁵.

Путешественник и здесь, конечно, не отступает от консервативных убеждений, возлагает вину не на систему, а на злоупотребления. «Благосостояние крестьян, — считает он, — тесно связано с благосостоянием помещиков; это очевидно для всякого. Конечно: должны еще произойти великие перемены; но не должно торопить времени и без того уже довольно деятельного. Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества...» (XI, 258). И все же путешественник не закрывает глаза на то, как катастрофически нарастает масса злоупотреблений. Бунт для него по-прежнему бессмыслен, но уже страшен в своей неотвратимости.

Об этом повествователь размышляет в последней главе, прекращая поневоле спор с «нововводителем»:

Помещик, описанный Радищевым, привел мне на память другого, бывшего мне знакомого лет 15 тому назад. (...) Этот помещик был род маленького Людовика XI. Он был тиран, но тиран по системе и убеждению, с целию, к которой двигался он с силою души необыкновенной, и с презрением к человечеству, которого не думал и скрывать. (...) Первым старанием его было общее и совершенное разорение. (...) Крестьянин не имел никакой собственности и — он пахал барскою сохою, запряженной барскою клячею, скот его был весь продан, он садился на спартанскую трапезу на барском дворе; дома не имел он ни штей, ни хлеба. Одежда, обувь выдавались ему от господина. (...) Как бы вы думали? Мучитель имел виды филантропические. Приучив своих крестьян к нужде, терпению и труду, он думал постепенно их обогатить, возратить им их собственность, даровать им права! — Судьба не позволила ему

⁵ Радищев А. Н. Сочинения. М., 1988. С. 151.

исполнить его предначертания. Он был убит своими крестьянами во время пожара (XI, 267).

Картина эта поражает точностью социологического анализа, проникающего в исконную суть «проклятой расейской действительности». Вот во что выливается точно обозначенная в «Мыслях на дороге» готовность правителей самовластно вести своих подданных «через тернии к звездам». И с этой точки зрения колеблется отправной символ веры пушкинского путешественника, сформулированный в начале повествования:

Не могу не заметить, что со времен восшествия на престол дома Романовых у нас правительство всегда впереди на поприще образованности и просвещения. Народ следует за ним всегда лениво, а иногда и не охотно (XI, 244).

В черновике это рассуждение было дополнено европейской параллелью:

Вот что и составляет силу нашего самодержавия. Не худо было иным европейским государствам понять эту простую истину. Бурбоны не были бы выгнаны вилами и каменями, и английская аристократия не принуждена была бы уступить радикализму (XI, 223).

Давно замечено, что в данном случае варьировались хорошо известные в обществе разглагольствования шефа жандармов графа А. Х. Бенкендорфа. Объясняя причины июльской революции во Франции 1830 года, он говорил Николаю I:

⟨...⟩ с самой смерти Людовика XIV французская нация, более испорченная, чем образованная, опередила своих королей в намерениях и потребности улучшений и перемен; что не слабые Бурбоны шли во главе народа, а что сам он влачил их за собою, и что Россию наиболее ограждает от бедствий революции то обстоятельство, что у нас, со времен Петра Великого, всегда впереди нации стояли ее монархи, но что по этому самому не должно слишком торопиться ее просвещением, чтобы народ не стал по

кругу своих понятий в уровень с монархами и не посягнул тогда на ослабление их власти⁶.

Заметно, что этот охранительный взгляд пушкинский путешественник существенно корректирует: для него важно, чтобы правительство было «всегда впереди на поприще образованности и просвещения». Иными словами, он, консерватор, конечно, стоит за монархию, но монархию просвещенную.

У Пушкина же к 1830-м годам вышло совершенно иное представление о застрельщиках российского просвещения. В «Опровержениях на критики» (1830) он писал:

Нападения на писателя и оправдания, коим подают они повод — суть важный шаг к гласности прений о действиях так называемых общественных лиц (*hommes publics*), к одному из главнейших условий высоко образованных обществ. В сем отношении и писатели, справедливо заслуживающие презрение наше, ругатели и клеветники, приносят истинную пользу — мало по малу образуется и уважение к личной чести гражданина и возрастает могущество общего мнения, на котором в просвещенном народе основана чистота его нравов.

Таким образом дружина ученых и писателей, какого б <рода> (?> она ни была, всегда впереди во всех набегах просвещения, и на всех приступах образованности. Не должно им малодушно негодовать на то, что вечно им определено выносить первые выстрелы и все невзгоды, все опасности (XI, 162—163).

Эта чрезвычайно дорогая, выстраданная всей жизнью своей мысль отзовется и в итоговом стихотворении Пушкина (черновик «Памятника» будет набросан в его последней рабочей тетради, начатой «Мыслями на дороге»):

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,

⁶ Русская старина. 1896. Т. 88. № 10. С. 74—75.

Что в мой жестокий век восславил я Свободу⁷
И милость к падшим призывал... (III, 424).

Та же мысль подспудно (путешественник подчас высказывает ее невольно, иногда спорит с ней, впадая при этом в противоречие с самим собой) пронизывает и «Путешествие из Москвы в Петербург». Недаром самая пространная глава здесь посвящена Ломоносову. «Ломоносов, — читаем здесь, — был великий человек. Между Петром I и Екатериною II, он один является самобытным сподвижником просвещения» (XI, 249). (Путешественник оговорился: ведь чуть выше он утверждал, что в России правительство было всегда впереди на поприще просвещения.)

Ломоносов, рожденный в низком сословии, не думал возвысить себя наглостью и запанибратством с людьми высшего сословия (хотя, впрочем, по чину, он мог быть им и равный). Но зато умел он за себя постоять и не дорожил ни покровительством своих меценатов, ни своим благосостоянием, когда дело шло о его чести или о торжестве его любимых идей. Послушайте, как пишет он этому самому Шувалову, *Предстателю Мус, высокому своему патрону*, который вздумал было над ним пошутить: «Я, ваше высокопревосходительство, не только у вельмож, но ниже у Господа моего Бога дураком быть не хочу» (XI, 254).

10 мая 1834 года Пушкин также запишет в своем дневнике:

Г. (осударю) неуютно было, что о своем камер-юнкерстве отзывался я не с умилением и благодарностию. — Но я могу быть подданным, даже рабом, — но холопом и шутом не буду и у Царя Небесного (XII, 329).

С этими, большими для Пушкина материями напрямую связана и небольшая главка, озаглавленная «Этикет», где, в частности, сказано:

⁷ В черновике: «Что вслед Радищеву восславил я свободу».

Предполагать унижение в обрядах, установленных этикетом, есть просто глупость. Английский лорд, представляясь своему королю, становится на колени и целует ему руку. Это не мешает ему быть в оппозиции, если он того хочет. Мы всякий день подписываемся *покорнейшими слугами*, и, кажется, никто из этого не заключал, чтобы мы просились в камердинеры (XI, 265).

В сущности, здесь разграничиваются законы общежителности, частного общения людей между собой, основанные подчас на правилах несколько чопорной традиции, и законы государственные, которые не должны подавлять личность, посягать на ее свободу. В этом вопросе позиции путешественника и автора полностью совпадают.

Они коренным образом расходятся, как только речь заходит о взаимоотношении писателя (и шире — прессы вообще) с властями. Мы уже замечали, что *de facto* путешественник склонен подчас писателей, а не правительство признать проводниками просвещения. Но общая консервативная позиция мешает ему признать то же *de jure*. В главе «О цензуре», которая является, пожалуй, идейным средоточием всего произведения, путешественник дает на этот счет отповедь радикалам. «Очевидно, что аристократия самая мощная, самая опасная, — предупреждает он, — есть аристократия людей, которые на целые поколения на целые столетия налагают свой образ мыслей, свои страсти, свои предрассудки. Что значит аристократия породы и богатства в сравнение с аристократией пишущих талантов? Никакое богатство не может перекупить влияние обнародованной мысли. Никакая власть, никакое правление не может устоять противу всеразрушительного действия типографического снаряда. Уважайте класс писателей, но не допускайте же его овладеть вами совершенно» (XI, 264). «Разве *речь* и *рукопись*, — размышляет путешественник, — (не) подлежат закону? Всякое правительство вправе не позволять проповедовать на площадях, что кому в голову придет, и может остановить раздачу рукописи, хотя строки оной начертаны пером, а не тиснугы станком типографическим.

Закон не только наказывает, но и предупреждает. Это даже его благодетельная сторона» (XI, 265).

Будучи последовательным консерватором, путешественник таким образом протестует против свободы не только книгопечатания, но любого выражения мысли, коль скоро она посягает на государственные устои. И потому уже не вызывает удивления его протест против самой мысли:

Мысль! великое слово! Что же и составляет величие человека, как не мысль? Да будет же она свободна, как должен быть свободен человек: *в пределах закона, при полном соблюдении условий, налагаемых обществом* (XI, 264).

Мысль — в пределах закона? Стало быть, сама мысль может быть подсудна? Вполне очевидно, что это не может быть пушкинским убеждением. Но ведь и сам путешественник, строго стоящий на страже закона, обратившись ради любопытства к книге Радищева и прочитавши ее не без пользы для себя, тоже нарушил закон (книга-то властями запрещена!). Всею образно-публицистической системой своего произведения, без сатирического раздражения Пушкин противостоит посягательству кого-либо на поиски истины, невозможные без полной свободы мысли.

Избранная Пушкиным форма его «Путешествия из Москвы в Петербург» может на первый взгляд показаться аморфной. Приведенная здесь оценка книги Радищева («Радищев написал несколько отрывков. (...) В них излил он свои мысли безо всякой связи и порядка») хотя, по сути, и не верна, но, как вполне очевидно, определяет и построение пушкинского произведения. Рассчитывая на внимательно читателя, Пушкин пытается указать альтернативу стихийно назревающему бунту, готовому снести до основания все и вся. Альтернатива эта — в оживлении (в России же — в зарождении и скорейшем развитии) политической жизни, невозможной без столкновения и противоборства мнений. «В тюрьме и в путешествии, — ориентирует он своего читателя, — всякая книга есть Божий дар, и та, которую не решитесь вы и раскрыть, возвращаясь из Английского клоба или собираясь на бал, покажется вам занимательна, как араб-

ская сказка, если попадетсЯ вам в каземате или в поспешном дилижансе. Скажу более: в таких случаях, чем книга скучнее, тем она предпочтительнее. (...) Книга скучная (...) читается с расстановкою, с отдохновением — оставляет вам способность позабыться, мечтать (...)» (XI, 244).

Случайно ли здесь настойчиво упоминаются тюрьма, каземат?

Фрагментарное, рассчитанное на вдумчивое чтение пушкинское произведение лишь на первый взгляд производит впечатление незаконченного. Предпринятое путешествие не доведено до конца, до петербургской заставы, а книга Радищева осталась недочитанной. Но своеобразной композиционной скрепой «Мыслей на дороге» служит упоминание одного и того же момента биографии путешественника в начале и в конце повествования: «лет 15 тому назад». Это в свою очередь помогает заметить соотносительность художественных образов, воссозданных в первой и последней главах: «великолепного шоссе», проложенного между старой и новой столицами по повелению самодержавной власти, и шлюзов, которые зывают к благодарной памяти о том, «кто, уподобясь природе в ее благодеяниях, сделал реку *рукодельною* — и все концы единой области привел в сообщение». Символический подтекст этих картин отчетливо Пушкиным прояснен: в первом случае «народ следует» за правительством «лениво, а иногда и не охотно», во втором — «во всем блеске» обнаруживается «мощный побудитель человеческих деяний, корыстолюбие» (или, как бы мы сказали теперь, после того, как это понятие было напрочь скомпрометировано, — личный интерес, интерес личности).

Мыслящий же широко, по-европейски, Пушкин в своем произведении впервые в русской литературе столкнулся на равных радикала и консерватора.

Закономерное и необходимое противоборство радикальных и консервативных взглядов в нормальных обстоятельствах помогает регулировать государственную систему, не дает ей закоснеть и сдерживает ее катастрофическое

разрушение. Но в условиях российской политической жизни такой обмен мнениями казался всегда неприемлемым и сверху, и снизу: со стороны правительства — по праву самовластной силы, со стороны радикалов — по бесправию нещадно гонимых, вынужденных возлагать надежды только на революционный слом системы. Может быть, потому и оставалось непонятным пушкинское «Путешествие из Москвы в Петербург», что до сих пор мы не научились вдумчиво вслушиваться в спор противоборствующих партий, стремимся ввязаться в «последний и решительный бой».